

**Александр
Гарцев**



Сапоги

Александр Гарцев

Сапоги

<https://litres.ru/74260137>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Сапоги» — это не просто повесть об армейской службе.

Это рассказ о поколении, которое знало цену жизни.

О времени, когда слово «Батя» произносилось с уважением.

И о том, что настоящая мужская дружба не знает расстояний и сроков давности.

Для тех, кто служил. Для тех, кто ждал. Для тех, кто помнит.

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «МОСКВА-КАЛМЫКИЯ, ТРАНЗИТ».	5
ГЛАВА ВТОРАЯ. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ».	10
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «СВИНАРНИК».	15
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «ПЕРВЫЙ ВЫХОД В СТЕПЬ».	21
ГЛАВА ПЯТАЯ. «СТОЛОВАЯ И ЕЕ ХРАНИТЕЛЬНИЦА».	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Александр Гарцев

Сапоги

Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно
Автор.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «МОСКВА-КАЛМЫКИЯ, ТРАНЗИТ».

Вагон пах потом, махоркой и той особенной, кисловатой сыростью, какая бывает только в теплушках, куда набивают народ, как сельдей в бочку. Деревянные нары в три яруса, посередине — буржуйка, у которой суетился дневальный, подбрасывая в рыжее нутро щепки и угли. За окнами, грязными и закопченными, мелькал пейзаж, унылый, словно выцветшая фотография: сначала подмосковные перелески с пожухлой листвой, потом — бесконечное, серое поле, и наконец — степь. Ровная, как стол, выжженная солнцем, с редкими кустиками перекати-поля, которые ветер гнал прямо под колеса состава.

Саша Громов сидел на нижних нарах, привалившись спиной к холодной стене, и смотрел на этот пейзаж с чувством глубокого, почти физического отвращения. Два часа назад он еще был москвичом, студентом, подающим надежды. А теперь он — красноармеец, рядовой Советской Армии, часть номера такого-то, следующая станция — «Авиаполигон-3».

— Ты глянь, какую харю скорчил, — раздался голос слева. Там, свесив ноги с верхних нар, сидел коренастый парень с веснушчатым лицом. Он кивнул на Сашу. — Будто лимон сжевал, москвич. Что, мамка пирожками не накормила на

прощанье?

Саша не ответил. Он вообще старался не разговаривать с этими людьми. С этими деревенскими, работягами, у которых руки в мозолях, а лексикон состоит из трех слов. Они смотрели на него с любопытством, как на заморскую диковинку. Он — в новенькой, еще не мятом ватнике, сшитом не по размеру, и в яловых сапогах, которые уже начали жать в щиколотках. За два дня пути он так и не научился наматывать портянки, и теперь они сбились в комок, причиняя острую боль.

— Чего молчишь? — не унимался веснушчатый. — Обиделся? Эй, земляки, гляньте, обиделся наш Сашок!

Несколько голов повернулось. Кто-то хохотнул. Кто-то, наоборот, нахмурился, глядя на Сашу с сочувствием. Саша же сжал зубы. Он вспомнил мамин голос, ее слезы у порога, когда он уходил в военкомат. «Сашенька, ты пиши, если что... Ты там одевайся теплее...» — говорила она, суетливо поправляя воротник его пальто. И ему стало тошно до слез. Он — взрослый мужчина, ему восемнадцать лет, а его провозжают как в детский сад.

— Отвали, — буркнул он, глядя в окно.

Веснушчатый — а звали его Сергей Бобров, или просто Боб, как он сам себя представил — спрыгнул с нар и плюхнулся рядом с Сашей. В руках у него была фляжка, из которой пахло спиртом.

— На, хлебни, — сказал он миролюбиво. — Нервы успо-

коишь. Я же вижу, ты не злой, ты просто дурак. Городской. Не знаешь, куда попал.

Саша оттолкнул фляжку. Ему хотелось врезать этому веснушчатому нахалу, дать в челюсть, чтобы посыпались веснушки. Но рука не поднималась. Боб был шире, плечистее, и смотрел он по-доброму, без злобы.

— Степь, — сказал Боб, покосившись на окно. — Место хреновое. Воды нет, травы нет. Одна пыль. А ты думал — курорт? Ты, москвич, в армии всего три дня, а уже ноешь. А мне, между прочим, уже год служить осталось. Вот тогда я ныл, когда первый раз попал сюда. Плакал по ночам, как девка.

— Я не ною, — глухо сказал Саша.

— Ноешь, — усмехнулся Боб. — Но это ничего. Это лечится. Ты главное, Сашок, запомни: здесь либо ты мужик, либо ты тряпка. И если ты тряпка — тебя сожрут. Даже без дедовщины. Твоя же собственная гордость сожрет. Будешь в сапогах своих размазню носить — никто тебя уважать не станет.

— При чем тут сапоги? — нахмурился Саша.

— А при том, — Боб понизил голос и оглянулся на товарищей, — что сапоги — это главное. Это — твоя карточка. Грязные сапоги — грязная душа. Так у нас прапорщик говорит, Берестов. Во, тот, что с хитрым прищуром, в куртке кожанке. Видал?

Саша поморщился. Прапорщик Берестов. Он запомнил

его еще на распределительном пункте. Невысокий, кряжистый, с лицом, изрезанным морщинами, как кора старого дуба. Глаза у него были светло-серые, спокойные, но в них читалась такая глубина, что Саше стало не по себе. Прапорщик посмотрел на него — раз, и словно всю жизнь прочитал. Саша тогда вытянулся, поправил ремень, но Берестов только крякнул и сказал: «Обувайся, сынок, с богом».

— Видал, — ответил Саша.

— Вот он и есть наш батя, — продолжал Боб. — Он тебя быстро на путь истинный наставит. Ты, главное, не дергайся. Не выпендривайся. Будь проще.

Саша ничего не ответил. Он снова отвернулся к окну. Степь неслась мимо. Пыльная, серая, пустая. И где-то впереди, в этой пустоте, была его новая жизнь. Жизнь, где ему придется подчиняться, мыть полы, чистить картошку и... носить сапоги. Он вздохнул и снова посмотрел на свои ноги. Яловые, тупорылые, с грубой подошвой. Стягивали они ногу мертво, и Саша впервые смутно понял, что эта война с сапогами может быть долгой и трудной. Он вспомнил мамин голос и вдруг, впервые за всю дорогу, почувствовал не жалость к себе, а что-то другое. Злость. На себя.

А поезд все несся на юго-восток, в самое сердце Калмыкии, туда, где среди выжженной степи стояла авиационная часть, и где новый рядовая Александра Громова ждало первое испытание. Испытание матушкой-армией.

Вагон качнуло на стыке рельсов. Боб хлопнул Сашу по

плечу и улыбнулся:

— Ты это... держись, москвич. Бывало и хуже. Вон, говорят, в сорок третьем под Сталинградом... — но он осекся, махнул рукой и полез обратно на верхние нары. — Ладно, байки потом. Спи, завтра уже там будем.

Саша не спал. Он сидел и смотрел на мелькающие за окном столбы, пока те не слились в одну серую линию. И в голове его, как заезженная пластинка, крутилась одна мысль: «Зачем я сюда попал? Что я тут забыл?».

На этот вопрос судьба обещала ответить уже очень скоро.

ГЛАВА ВТОРАЯ. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ».

Поезд остановился среди ночи. Точнее, уже не ночи, а того предраассветного часа, когда небо начинает сереть на востоке, а степь кажется особенно безжизненной, выцветшей до состояния старой тряпки. Сашу разбудил Боб, ткнув его в плечо грубым кулаком:

— Приехали, москвич. Выходим.

Саша спрыгнул с нар и тут же едва не упал — ноги затекли, а в сапогах, казалось, плескалась какая-то жидкость. Он скосил глаза вниз: голенища яловых сапог были покрыты белесыми разводами — соль выступила на коже от пота. Портянки превратились в мокрые комки, сбившиеся к самым пальцам. Он попытался их поправить, но было поздно — вагон уже распахнулся, и в лицо ударил сухой, горячий ветер, пропитанный пылью и запахом полыни.

— Живо, живо! — кричал кто-то снаружи. Голос был строгий, командирский. — Построение через пять минут! Не копошиться!

Вываливались из вагона как попало. Кто-то еще не проснулся, кто-то, наоборот, был на взводе от страха. Саша спрыгнул на песчаную землю и огляделся. Вокруг была пустота. Никакого города, никаких домов. Только вдалеке, в

утренней дымке, виднелись какие-то строения: низкие, приземистые, серые, словно вросшие в землю. А на горизонте, на фоне розовеющего неба, стояли темные силуэты. Самолеты. Саша вгляделся и узнал: это были Ил-28, старые бомбардировщики, которых он видел на картинках в журналах. Здесь они стояли рядами, как покорные звери, на бетонных площадках, и на их фюзеляжах тускло отражался первый луч солнца.

— Налюбовался? — раздался голос рядом. Саша обернулся. Перед ним стоял тот самый прапорщик, которого он видел на распределении в Москве. Василий Иванович Берестов. В кожанке, надетой поверх гимнастерки, в начищенных до блеска сапогах, которые даже в этой степи казались чернее черного. Он смотрел на Сашу с выражением смеси строгости и усталости.

— Стройся! — коротко бросил он. — По два! В колонну!

Саша дернулся, шагнул к ближайшему соседу, но тот уже встал рядом с другим. Саша остался один. Боб, увидев его растерянность, дернул его за рукав и пристроил рядом с собой. Берестов прошел вдоль строя, останавливаясь перед каждым, заглядывая в глаза. Когда он дошел до Саши, то задержался чуть дольше обычного.

— Громов Александр? — спросил он, сверяясь с бумажкой.

— Так точно, товарищ прапорщик! — выпалил Саша, стараясь, чтобы голос не дрожал.

Берестов кивнул, опустил взгляд на ноги Саши. Саша проследил за его взглядом и покраснел: его сапоги, только что чистые (относительно), уже покрылись тонким слоем пыли, а там, где он пытался поправить портянки, из голенищ торчала мокрая тряпка. Берестов молча покачал головой и двинулся дальше.

Колонну повели через плац. Под ногами хрустел гравий, и каждый шаг отдавался в ушах. Саша старался идти в ногу, но сапоги предательски скользили, портянки сползали, и он то и дело сбивался с ритма. Боб рядом шел как по струнке — четко, ровно, словно всю жизнь только этим и занимался.

— Сапоги жмут? — тихо спросил Боб, не поворачивая головы.

— Жмут, — прошептал Саша.

— То-то. Учись мотать портянки. Я тебя потом научу. А пока терпи, герой.

Казарма, куда их привели, оказалась такой же серой и унылой, как и все вокруг. Длинное одноэтажное здание из ракушечника, с узкими окнами-бойницами, зарешеченными снаружи. Внутри пахло мастикой, хлоркой и еще чем-то кислым, неуловимым, что Саша сразу определил как «солдатский дух». Два ряда железных кроватей, застеленных серыми одеялами, тумбочки у изголовья, пирамиды с винтовками у стены. У дальней стены — длинная деревянная вешалка, на которой уже висели старые, поношенные шинели.

— Размещаемся! — скомандовал старшина, сухой и жи-

листый мужик, с лицом, изъеденным оспой. — Койки по номерам. Ваши фамилии на тумбочках. Вещи в шкафы. Через час — завтрак. После завтрака — знакомство с частью.

Саша нашел свою койку. Тумбочка была пустой, только внутри лежал жестяной кружок с номером. Саша скинул на койку вещмешок, сел и первым делом стащил проклятые сапоги. Ноги гудели, пальцы были белыми от влаги, на пятках наливались красные волдыри. Он вытащил портянки, скрученные в жгут, и, не глядя, швырнул их под кровать.

— Эй, салага! — раздался голос над ухом.

Саша поднял голову. Над ним стоял коренастый парень с нашивкой старшего сержанта. На его лице, смуглом и жестком, застыла усмешка. Сержант смотрел на портянки, валяющиеся на полу.

— Под кровать? — переспросил сержант. — У тебя что, мамка дома полы мыла? Или ты в хлеву вырос? Портянки сушить. И правильно сложить. В ногах, в тумбочке.

Саша молча наклонился, подобрал портянки и запихнул их в тумбочку. Сержант хмыкнул, покачал головой и отошел. Саша услышал его тихий комментарий в сторону соседа: «Ну, этот, видать, из нежных. Будет нам баба с возу...».

Саша сжал кулаки. Ему хотелось встать и что-то сказать, огрызнуться, сказать, что он не хуже их всех, что он — человек, а не скот. Но он промолчал. Потому что внутри что-то оборвалось. Он вспомнил, как дома каждое утро мама ставила на стол тарелочку с бутербродом и чашку горячего

чая. Как она поправляла ему воротничок рубашки и говорила: «Сашенька, ты у меня красавчик». А здесь он — никто. Тряпка. Пятно на полу.

Он поднял глаза к окну. Сквозь мутное стекло виднелась степь. Бесконечная, пустая, равнодушная. И где-то там, за этой степью, была Москва, и мама, и его девушка Анна, и старая жизнь, которая уже никогда не вернется.

— Эй, москвич, — рядом плюхнулся Боб. — Не кисни. Это только начало. Скоро прапорщик Берестов покажет тебе, где какие сапоги начищают. У него, говорят, есть байки — заслушаешься. Ветеран войны, Сталинград прошел. Ты бы слышал, как он про сорок третий рассказывает...

Саша молчал. Ему было плевать на байки. Он хотел домой.

Но дом был далеко. А впереди — два года. И он даже не подозревал, что именно эти байки старого прапорщика, эти рассказы о войне, о сапогах и о смерти однажды перевернут его жизнь.

За окном поднималось солнце. Степь залилась янтарным светом. И в этом свете казарма, сапоги, портянки — все казалось каким-то странным, нереальным сном. Но это была реальность. И она только начиналась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «СВИНАРНИК».

Сентябрь 1968 года. Степь Калмыкия. Шесть часов утра.

Рассвет над полигоном занимался медленно, неохотно, словно природа сама не хотела просыпаться в этом пустом, выжженном месте. Солнце выползло из-за горизонта бледным, болезненным шаром, и его первые лучи не грели, а только высвечивали бесконечное пространство степи — ровной, как стол, покрытой жесткой, колючей травой, которая за лето выгорела до состояния серой пакли. Ветра не было, и над землей висела тяжелая, давящая тишина, нарушаемая только далеким гулом авиационных двигателей — там, за пять километров, на летном поле, механики уже прогревали Ил-28 для утренних вылетов.

Казарма стояла на краю военного городка, окруженного невысоким забором из колючей проволоки. Рядом с казармой, метрах в пятидесяти, притулилось длинное, низкое строение из кирпича-сырца, с односкатной крышей, покрытой шифером. Из щелей этого строения тянулся запах — тяжелый, густой, удушающий, смесь навоза, прелой соломы и чего-то еще кислого, что оседало на одежде и коже липкой пленкой. Это был свинарник. Гордость и проклятие части. Здесь, в тесных, грязных закутках, содержались двенадцать черных калмыцких боровов — огромных, лохматых, с жесткой щетиной, которая росла густо, как у диких кабанов. Сви-

нии были старые, злые и тупые, но для части — незаменимые. Сало, мясо — все это шло в солдатский котел, чтобы разнообразить скудный рацион.

Саша Громов, которого разбудили в пять утра в наряд по свинарнику, стоял у входа в это зловонное царство и с трудом сдерживал рвотный позыв. Его тошнило уже пятнадцать минут. Тошнило от запаха, от вида, от осознания того, что ему сейчас придется туда войти.

— Ну чего встал? — раздался сзади насмешливый голос. Это был сержант Гаврилов, тот самый, что сделал замечание за портянки. — Боишься, салага? Или с утра не завтракал?

— Товарищ сержант, разрешите... — начал Саша, но слова застряли в горле. Его вывернуло наизнанку прямо у порога.

Сержант Гаврилов расхохотался. Хохот его был громким, раскатистым, и к нему присоединились еще двое солдат, которые стояли неподалеку с ведрами и лопатами. Боб, который тоже был в наряде, смотрел на Сашу с сочувствием, но тоже улыбался.

— Товарищ сержант, может, его в другое место? — спросил Боб. — Он еще не привык. Городской. Неженка.

— В другое место? — Гаврилов скрестил руки на груди. — А кто тогда будет боровам жрачку носить? Ты? Нет, Бобров, ты сегодня на кухне. А этот красавец — в свинарник. Порядок есть порядок. Так что, Громов, давай-ка, бери ведро и за мной.

Саша поднял голову. Лицо его было бледным, как мел, глаза слезились. Он вытер рот рукавом, взял ведро с картофельными очистками и шагнул внутрь. Внутри было темно, только узкие щели в стенах пропускали тусклый утренний свет. В этом полумраке он увидел их. Боровов. Огромные, черные туши лежали в соломе, лениво поводя ушами. Один из них, самый крупный, с желтыми клыками, торчащими из нижней челюсти, приподнял голову и уставился на Сашу маленькими, злыми глазками.

— Это Махно, — сказал Гаврилов, указав на огромного борова. — Самый злой. Ты ему руку не суй — откусит. И не смотри ему в глаза. Он не любит, когда смотрят.

Саша стоял, вцепившись в ручку ведра, и чувствовал, как подкатывает новая волна тошноты. Запах внутри был в десять раз сильнее, чем снаружи. Густой, горячий, влажный. Он забивал нос, горло, проникал в легкие.

— Чего встал? — рявкнул Гаврилов. — Рассыпай картошку по корытам. И пошевеливайся. Время — деньги.

Саша шагнул к первому закутку. Боровы зашевелились, завозились в соломе, загудели низкими, угрожающими голосами. Саша перегнулся через низкую перегородку и высыпал очистки в длинное корыто. Огромная черная туша метнулась к корыту, загородив его спиной. Саша отшатнулся, ударился плечом о стену и чуть не упал в жижу, которая хлопала под ногами.

— Осторожнее! — крикнул Гаврилов. — Ты чего, сдурел?

Ты их дразнишь, что ли? Они разозлятся — разнесут весь свинарник. Мужики, ведра воды сюда, быстро!

Саша выскочил на улицу, согнулся пополам и его снова вывернуло. Он слышал, как Боб рядом чертыхался, кто-то смеялся, кто-то давал советы. А он стоял, опершись руками о колени, и дышал, дышал, дышал, пытаясь вытравить из себя этот тошнотворный смрад.

Через час работы Саша уже не чувствовал запаха. Нет, запах был, но он стал привычным, фоновым, как шум мотора или гул ветра. Руки дрожали от тяжести ведер с водой, ноги скользили в месиве из грязи и навоза. Он таскал корм, подстилал солому, отмывал стены от налипших экскрементов. Боровы, привыкнув к нему, уже не рычали, а только лениво хрюкали, требовали еды, смотрели на него наглыми, умными глазами.

К полудню он выбился из сил. Он сидел на чурбаке у входа, смотрел на пустую степь и думал о том, что ад, если он существует, выглядит именно так. Бесконечная пыль, вонь, злые борова и чувство безнадежности. В голове крутилась одна мысль: «Что я здесь делаю? Зачем я это терплю?».

— Сашок, — рядом присел Боб. — Ты как? Живой?

— Живой, — выдохнул Саша.

— Потерпи, — Боб хлопнул его по плечу. — Это самое страшное. Привыкнешь — перестанешь замечать. А потом и вовсе не будешь вспоминать. Ты главное, не расслабляйся. Сегодня свинарник, завтра казарма, послезавтра полигон. И

так два года. А будешь киснуть — сожрут. Не боровы, так люди.

Саша поднял на Боба глаза. Он хотел сказать, что ему плевать, что он все равно не выдержит, что он сбежит, как только представится случай. Но сказал другое:

— А что, в войну тоже были такие свинарники?

Боб удивленно посмотрел на него, потом улыбнулся:

— А черт его знает. Вот у прапорщика Берестова спроси. Говорят, он про войну такие байки травит — уму непостижимо. Про сапоги, про форму, про то, как в сорок третьем под Харьковом... — Боб осекся, махнул рукой. — Ладно, потом расскажу. Давай, поднимайся. Надо еще воду таскать. До вечера.

И Саша поднялся. Он взял ведра. Он пошел в свинарник. И снова запах, и снова боровы, и снова бесконечная, унылая работа. Но внутри, где-то глубоко, в самой черной и грязной душе, шевельнулось что-то непонятное. Он вдруг подумал, что если этот Берестов прошел через войну, через ад сорок третьего, то, может быть, и он, Саша Громов, сможет пережить этот свинарник. И впервые за долгое время ему захотелось услышать, что же такое рассказал старый прапорщик, что его байки заставляют солдат забывать о вонючем свинарнике и двадцать пять лет спустя.

В конце дня, когда солнце уже садилось за горизонт, окрашивая степь в багровые тона, Саша стоял на крыльце казармы и смотрел на дымку, поднимающуюся над свинарником.

Руки его были в навозе, сапоги в грязи, но он не чувствовал ни тошноты, ни страха. Только усталость. Глухую, тяжелую, которая давила на плечи, но не ломала.

«Ничего, — подумал он. — Я справлюсь».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

«ПЕРВЫЙ ВЫХОД В СТЕПЬ».

Октябрь 1968 года. Авиационный полигон. Семь часов утра.

Осень в Калмыкии приходит внезапно. Еще вчера степь выгорала под беспощадным солнцем, а сегодня просыпаешься — и за окном свистит ветер, сухой и колючий, несущий тучи пыли, которые застилают горизонт серой пеленой. Температура падает до пяти-семи градусов, ночная роса превращается в иней, который покрывает траву и крыши казарм тонким серебристым налетом. Небо становится высоким и бледным, словно выцветшее полотно, и в этом небе, на недосягаемой высоте, чертят серебристые линии реактивные самолеты — идут на полигон, к мишеням, расставленным в четырех с половиной километрах от части.

На полигоне сегодня стрельбы. Саша знает это по тому, как с утра сустились офицеры, как механики прогревали движки, как старшина приказал построиться в пять утра и раздал карабины. Саша стоит в строю, сжимая в руках тяжелый СКС, и чувствует, как холодный ветер пробирается под ватник. За спиной у него — вещмешок с сухим пайком и фляжка воды. Впереди — четыре с половиной километра пешком до командного пункта. Четыре с половиной кило-

метра по степи.

— Смирно! — командует капитан Белов. — Сегодня задача: охрана периметра полигона. Выходим в три группы. Вас, рядовой Громов, прапорщик Берестов возьмет с собой. Назначение — второй пост. Вопросы есть?

— Никак нет, товарищ капитан! — отвечает Саша, хотя внутри все сжимается от неизвестности.

Берестов стоит рядом, в своей неизменной кожанке, и молча смотрит на Сашу. В его взгляде нет строгости, только спокойное наблюдение. Он ждет. Ждет, что скажет этот нежный городской парень, который вчера чуть не блевал в свинарнике.

— Громов, шагом марш за мной, — коротко бросает прапорщик и разворачивается.

Саша идет следом. Они проходят мимо казармы, мимо плаца, мимо свинарника — оттуда доносится привычное хрюканье, — и выходят за ворота части. Степь встречает их ветром. Он бьет в лицо, забивает глаза пылью, заставляет щуриться. Саша поднимает воротник ватника и идет, стараясь держать ровный шаг. Берестов шагает широко, уверенно, словно он здесь родился и вырос. Саша за ним едва поспевает.

— Не отставай, сынок, — бросает Берестов через плечо. — Степь не любит слабых. Она их забирает.

Саша молчит. Он уже понял, что с этим прапорщиком лучше разговаривать коротко и по делу. Любые попытки по-

нить, пожаловаться, сказать, как ему тяжело, разбиваются о его спокойный, чуть насмешливый взгляд.

Через час ходьбы они достигают КП — командного пункта. Это небольшая землянка, врытая в склон холма, окруженная мешками с песком. Вокруг — пустота. Ни деревца, ни кустика. Только серая, выжженная трава и бесконечное небо над головой. За пять километров отсюда, на бетонных площадках, виднеются самолеты — они кажутся игрушечными на таком расстоянии, маленькие, едва различимые.

— Твой пост, — говорит Берестов, указывая рукой на западную сторону. — Вон те три столба. Туда и обратно. Следи за периметром. Если увидишь кого — стрелять не надо. Сначала кричи, потом свисти, потом — в воздух. Понял?

— Понял, товарищ прапорщик.

— Иди, — кивает Берестов. — Я здесь буду. Если что — зови.

Саша берет карабин, проверяет, что он на предохранителе, и идет к западным столбам. Идти по степи трудно. Земля под ногами твердая, с множеством трещин, колючие кусты перекасти-поля цепляются за голенища сапог. Саша идет, смотрит на горизонт, пытается понять, где кончается полигон и начинается просто так — степь, бесконечная, пустая, безлюдная.

Он доходит до столбов. Три железных столба, врытых в землю. Вокруг них — никого. Саша стоит, смотрит вдаль, и вдруг чувствует странное спокойствие. Здесь, в этой пустоте,

нет ни сержанта Гаврилова, ни вонючего свинарника. Только ветер, небо и он. Он, Саша Громов, москвич, которому доверили охранять границу полигона.

Через час Берестов приносит ему чай в алюминиевой кружке. Горячий, крепкий, с сахаром. Саша берет кружку и чувствует, как тепло разливается по груди.

— Спасибо, товарищ прапорщик.

— Не за что, — Берестов садится рядом на землю, достает папиросы, сворачивает козью ножку. — Как служба, Громов?

— Нормально, — отвечает Саша. И удивляется тому, что говорит это искренне.

— А свинарник? — в голосе прапорщика проскальзывает усмешка.

Саша кривится, но улыбается:

— Привыкаю.

— То-то же, — Берестов затягивается, выпускает дым. — В армии надо привыкать ко всему. И к свинарнику, и к степи, и к сапогам. А сапоги, помню, в сорок третьем... — он замолкает, смотрит вдаль, туда, где исчезает горизонт. — Ладно. Байки потом. Допивай, и на пост.

Саша допивает чай, отдает кружку и снова идет к столбам. Он идет и думает о том, что этот прапорщик все время обрывает себя на полуслове. Каждый раз, когда он начинает говорить о войне, о том, что было в сорок третьем, он умоляет, словно бережет что-то важное. И Саше становится ин-

тересно. Что же там такое он видел, что не может рассказать сразу?

День проходит в тишине. Самолеты бомбят мишени, и где-то на полигоне рвутся бомбы — звук доносится приглушенный, словно через вату. К вечеру ветер стихает, и степь заливается закатным светом. Саша стоит на посту и смотрит, как солнце уходит за горизонт, окрашивая небо в багровые, оранжевые и лиловые тона. Красиво. Непривычно красиво. В Москве он никогда не видел таких закатов.

Когда они возвращаются в часть, уже темно. Саша идет рядом с Берестовым, и они молчат. У ворот их встречает Боб.

— Ну как, москвич, не сдох? — спрашивает Боб, хлопая его по плечу.

— Почти, — улыбается Саша. — Но завтра я снова пойду. Берестов, проходя мимо, останавливается:

— Громов. Завтра утром зайдешь ко мне. Есть разговор.

— Есть, — отвечает Саша. — Василий Иванович, а можно спросить?

- Давай.

- Откуда у вас фамилия такая?

— Отец мой был лесником. В Саратовской губернии. Говорил: «Береста — она живая. Дерево бережёт. И ты, сынок, людей береги». Я и берегу. Всю жизнь

Саша идет в казарму, садится на кровать и снимает сапоги. Ноги болят, на пятках уже налились мозоли. Он достает

из тумбочки портянки и смотрит на них. Мокрые, грязные. Он вспоминает, как Берестов смотрел на его сапоги в день прибытия, и ему становится неловко.

Саша встает, идет в умывальник, моет портянки, выжимает их, кладет сушиться на батарею. Потом берет щетку и начинает чистить сапоги. Сначала плохо, неумело, смазывая ваксу и размазывая грязь. Но потом его руки привыкают, и впервые он чистит их до тусклого блеска. Впервые за две недели.

Ложась спать, он думает о Берестове. Что тот хотел ему сказать завтра? И почему внутри, в груди, появляется странное чувство? Он еще не знает, но он уже начинает уважать этого сухого, молчаливого человека в кожанке, который прошел войну, который видел смерть и все равно остался добрым. И ему хочется стать таким же. Хотя бы чуточку.

— Эй, москвич, — сонно бормочет Боб с соседней койки.
— Ты сапоги-то почистил?

— Почистил, — тихо отвечает Саша.

— Молодец. Спи, завтра новый день.

Саша закрывает глаза. За окном воет ветер. Степь живет своей жизнью. И он, Саша Громов, начинает в нее вживаться.

ГЛАВА ПЯТАЯ. «СТОЛОВАЯ И ЕЕ ХРАНИТЕЛЬНИЦА».

Ноябрь 1968 года. Солдатская столовая. Шесть часов утра.

Ноябрь в калмыцкой степи — месяц самый тоскливый. Летний зной уже ушел, но зимние морозы еще не пришли. Стоит серая, промозглая слякоть, когда небо висит над головой низким свинцовым покрывалом, а земля превращается в липкую грязь, которая налипает на сапоги тяжелыми комьями. Ветер дует с севера, пронизывающий, ледяной, и даже в казарме, где топится железная печка-буржуйка, холод пробирается до костей. Степь в такую погоду становится не просто пустой, а враждебной — серой, унылой, безжизненной, и кажется, что она тянется до самого края света, где нет ничего, кроме тоски и одиночества.

Но есть в части одно место, где всегда тепло и уютно. Где пахнет не мастикой и хлоркой, а свежим хлебом, луком, картошкой и еще чем-то сладким, домашним, что заставляет сердце биться чаще, а в горле — появляться комок. Это солдатская столовая. Небольшое одноэтажное здание из белого кирпича, с высокими окнами, из которых всегда струится желтый, теплый свет. Внутри — длинные деревянные столы, покрытые клеенкой, и скамейки, отполированные за многие

годы солдатскими задами. У входа — рукомойник, железный, с ведром для грязной воды, и зеркало в треснутой раме.

Столовую держит Зинаида Павловна Коваленко — жена капитана Белова. Тетя Зина, как зовут ее солдаты за глаза. Ей под сорок, она полная, добродушная женщина с круглым лицом и вечно красными от пара руками. Она приехала в часть вместе с мужем из Киева пять лет назад и с тех пор стала здесь главным человеком. Не капитаном, не старшиной, а именно ей — тете Зине — солдаты доверяли свои тайны, жаловались на службу, просили передать письма домой, а она, в свою очередь, жалела их, кормила, подкармливала и ругала так же ласково, как мать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.